

ВЕЛИСЛАВА ЧЕРНОВА



ПЕПЕЛ  
БАБЬЕГО ЯРА

Серия: Хроники Мёртвых Топей

# Велислава Чернова

## Пепел Бабьего Яра

<https://litres.ru/73990948>

SelfPub; 2026

### Аннотация

Граница между мирами рушится. И за ней стоит та, чьё имя знает каждый русский ребёнок.

Весна в Чернотопье. Болото бурлит, лес стонет, мёртвая рыба всплывает в реках. Кикимора плачет в тумане. Леший мечется по тайге. Водяной поднимает волны. Полуночница стучит в окна. Все духи, с которыми сталкивался следователь Корнеев, пришли в движение — и все они **БОЯТСЯ**.

Потому что пробудилась Баба-Яга. Привратница. Мать. Та, что стоит на Границе между миром живых и Навью. И она пришла за Василисой.

Род Мороковых — древний род Хранительниц Границы. Каждое поколение отдаёт одну женщину — навсегда. Мать Василисы отказалась — и Граница треснула. Теперь настал черёд дочери. Если Василиса не уйдёт за Границу в Вальпургиеву ночь, Навь хлынет в мир, и всё, что они знают, утонет во тьме.

# Содержание

Пролог	4
Глава 1	13
Глава 2	24
Глава 3	37
Глава 4	49
Глава 5	62
Конец ознакомительного фрагмента.	69

# Пепел Бабьего Яра

## Пролог

Время не имело здесь значения. Может быть, это был век, когда леса простирались до самого края света и в каждом ручье жила русалка, а в каждом дупле — дух-хранитель. Может быть, эпоха, когда люди ещё помнили имена всех духов, приносили им требы и знали, что мир стоит не на трёх китах, а на хрупком равновесии между светом и тьмой. А может быть — завтра, потому что цикл не знает ни начала, ни конца.

Молодая женщина стояла на краю оврага. Весенний ветер играл её длинными волосами цвета спелой ржи, путал их, бросал в лицо. Она не поправляла — руки висели вдоль тела, безвольные и в то же время решительные, как у человека, который сделал выбор и больше не отступит. Зелёные глаза смотрели вниз — туда, где между корявых берёз и осин темнела расселина, похожая на незаживающую рану в теле земли. Овраг был глубоким. Дно его терялось в сумраке, даже когда солнце стояло в зените. Казалось, что свет боится спускаться туда — останавливается на полпути, как путник, услышавший предупреждение.

Женщина знала это место. Она приходила сюда каждую весну с самого детства — сначала с матерью, потом одна.

Мать говорила: «Слушай, дочка. Овраг говорит. Надо только уметь слышать». Она слушала. Слышала шёпот ветра между камнями, плеск ручья на дне, скрип старых деревьев, цепляющихся корнями за осыпающийся край. Но сегодня — сегодня овраг молчал. Как молчит мир перед грозой.

На противоположном краю оврага сидела старуха.

Она была так стара, что казалось — сам мир моложе её. Седые волосы, тонкие, как паутина, свисали почти до земли, перепутанные с мхом и сухими листьями. Кожа, испещрённая морщинами, словно кора древнего дуба, — тёмная, потрескавшаяся, но живая. Глаза — белые, без зрачков, без радужки, как два куска берёзовой бересты. Но в этих глазах была глубина, перед которой меркли все пропасти мира. Они видели. Они видели всё.

Старуха сидела на камне, покрытом лишайником. Вокруг неё — пепел. Тонкий серый слой покрывал землю, траву, камни. Пепел был всегда. Он был частью этого места, как вода — частью реки. Когда-то здесь горел костёр. Не обычный — ритуальный. Тот, что не гаснет, а просто уходит в землю, чтобы вернуться, когда придёт время.

Старуха медленно поднялась. Её левая нога — костяная, выточенная из чего-то древнее кости, белее слоновой, с тонкими трещинами, из которых сочилась не кровь, а свет, — издала глухой стук, ступив на мшистый камень. Она выпрямилась во весь рост — и оказалась выше, чем можно было предположить. Высокая, худая, как засохшее дерево, но

с той внутренней силой, которую не сломить ни ветру, ни времени.

Она подошла ближе. Встала прямо перед молодой женщиной. Между ними оставалось лишь несколько шагов — и овраг, разделяющий их. Пропасть. Граница. Символ и реальность одновременно.

— Ты готова, дитя? — спросила старуха.

Голос её был тихим, но в нём звучал шёпот тысячи лесов, плеск тысячи рек, треск тысячи костров. Он был и женским, и мужским, и детским одновременно — голос всех, кто когда-либо стоял на этом краю. Голос самой Границы.

Молодая женщина молчала. Ветер стих. Птицы замолкли. Даже листья перестали шелестеть. Мир замер, ожидая ответа. Деревья склонили ветви, как будто прислушивались. Ручей на дне оврага перестал журчать. Облака застыли в небе. Солнце, казалось, остановило свой ход.

Женщина вспоминала. Деревню, в которой родилась. Мать, которая ушла в такую же ночь, так же стояла на этом краю. Мужчину, которого любила — его тёплые руки, его смех, запах дыма от его рубахи. Детей, которых у неё никогда не будет. Весну, которую она видит в последний раз.

Слеза скатилась по щеке. Одна. Единственная. Она упала на землю — и там, где упала, проклюнулся цветок. Белый, как первый снег.

— Я готова, — сказала она наконец.

Слова прозвучали тихо, но в них была сила, которую не

слоमितь ни ветру, ни времени. Сила, передаваемая от матери к дочери, от бабки к внучке, от прапрапрабабки — до самого начала. До первой женщины, которая встала на краю и сказала «да».

Старуха кивнула. В её белых глазах мелькнуло что-то — не радость, не печаль. Понимание. Она знала эту боль. Она сама стояла здесь когда-то. Давно. Так давно, что даже камни забыли.

Старуха протянула руку через овраг. Рука её была костлявой, пальцы — длинными, как сухие ветви, с ногтями, потемневшими от времени. Но в этом жесте не было угрозы. Только приглашение. Только обещание: ты не исчезнешь. Ты станешь чем-то большим.

Молодая женщина шагнула вперёд. Её нога повисла над пропастью. На миг показалось, что она упадёт — провалится в эту тёмную расселину, в этот овраг, который видел столько прощаний. Но её рука встретилась с рукой старухи — и мир вспыхнул.

Огонь поднялся из оврага. Не алый, не жёлтый — белый, обжигающий, как сама суть бытия. Он вырвался из трещин в земле, из-под корней деревьев, из воды ручья, из самого воздуха. Пламя окутало обеих — молодую и старую, начало и конец, прошлое и будущее. Молодая женщина закричала — но крик её был не от боли. Это был крик рождения. Крик преображения. Крик того, кто перестаёт быть одним и становится всем.

Огонь взметнулся к небу, и небо ответило громом. Земля задрожала. Деревья склонились, словно кланяясь тому, что происходило на этом древнем краю. Из оврага поднялся пепел — лёгкий, невесомый, как первый снег. Он кружился в воздухе, оседал на траве, на камнях, на воде ручья, бегущего по дну оврага. Пепел нёс в себе память — память о каждой женщине, стоявшей здесь. Тысячи лет. Тысячи имён. Тысячи жертв.

Когда пламя стихло — медленно, неохотно, как стихает пожар, поглотивший всё, что мог, — на краю оврага осталась только одна фигура.

Старуха. Она стояла, опираясь на костяную ногу. Белые глаза смотрели вдаль — за горизонт, за леса, за реки, за самое время. Но теперь, если присмотреться, в их глубине мелькал зелёный отблеск — словно отражение юных глаз, которые навсегда остались в этом взгляде. Новый оттенок. Новая жизнь в древнем сосуде.

Молодой женщины не было.

Нет — она была. Везде. В каждом дереве, склонившемся над оврагом. В каждом камне, покрытом мхом. В воде ручья. В ветре. В земле. Она стала Границей. Стала тем, что отделяет мир живых от мира мёртвых, явь от нави, свет от тьмы. Она стала необходимостью.

Старуха повернулась и медленно пошла прочь. Костяная нога стучала о камни. Шаг за шагом. Шаг за шагом. Её фигура растворилась в тумане, который всегда висел над оврагом.

гом — густом, белом, пахнущем мхом и вечностью.

А на дне оврага, среди пепла и углей, что-то зашевелилось. Что-то древнее. Что-то необходимое. Граница между мирами — тонкая, как нить, крепкая, как сталь — натянута вновь. И держала. Как держала тысячу лет до этого. Как будет держать тысячу лет после. Потому что всегда находилась та, кто готова была отдать себя. Всегда была Хранительница.

Цикл продолжался.

Над оврагом снова зашумел ветер. Запели птицы — робко, неуверенно, как после долгого молчания. Жизнь вернулась в лес, как будто ничего не произошло. Но где-то далеко, в деревне у края болота, молодая девушка проснулась в холодном поту. Ей приснился сон — овраг, огонь, чьи-то руки, тянущиеся к ней из пламени. Она лежала в темноте, слушая стук собственного сердца, и не могла понять, почему на подушке — тонкий слой серого пепла.

Она ещё не знала, что этот сон — не просто сон.

Она ещё не знала, что однажды настанет её черёд.

Цикл не знает конца.

\*\*\*

Века сменяли века.

Первая Хранительница — Яра — стояла на краю ещё до того, как овраг обрёл свою нынешнюю глубину. Тогда это была трещина в земле — узкая, как порез, но глубокая, бездонная. Из неё сочилось что-то тёмное, липкое, бесформен-

ное. Нечто, что не имело имени, но имело голод. Голод такой силы, что деревья рядом засыхали, вода в ручьях мутнела, а животные обходили это место стороной.

Яра была дочерью кузнеца. Крепкая, широкоплечая, с руками, привыкшими к молоту. Она ковала мечи — лучшие мечи в деревне. Мужчины говорили: «Яра кузнечиха — баба, а железо слушается её, как собака хозяина». Она улыбалась. Не обижалась. Знала свою цену.

Но однажды ночью ей приснился сон. Овраг. Тьма. Голос: «Приди, дочь огня. Приди и встань. Без тебя — мир падёт».

Яра пришла. Встала на край. Посмотрела в тьму — и тьма посмотрела на неё. И Яра сказала: «Я здесь. Я держу. Попробуй пройти».

Тьма не прошла. Яра стояла. День, два, три. Потом — огонь. Белый, чистый, рождённый из самой земли. Он поднялся из трещины и обнял Яру, как мать обнимает ребёнка. И Яра стала Границей. Первой. Единственной.

С тех пор — каждое поколение. Каждая дочь рода. Каждая — одна.

Вторая — Милана. Тонкая, хрупкая, с голосом, от которого плакали камни. Она пела перед тем, как шагнуть. Песню, которую никто не записал и которую никто не помнит. Но камни на дне оврага — помнят. Если приложить ухо к земле — можно услышать эхо.

Третья — Любава. Русая, синеглазая. Она плакала всю дорогу к оврагу. Но когда встала на край — слёзы высохли. По-

тому что увидела тех, кто стоял до неё. Тени. Улыбки. Протянутые руки.

И так — из поколения в поколение. Из века в век. Из тысячелетия — в тысячелетие.

Некоторые шли с радостью — понимая, что их жертва спасает мир. Некоторые — со страхом, заставляя себя ступать шаг за шагом, сцепив зубы. Некоторые — с гневом, проклиная судьбу, которая сделала их избранными. Но все — шли. Все — стояли. Все — горели.

Все — становились Границей.

И мир — стоял.

Только однажды — одна не пришла. Агафья, дочь кузнеца Тихона, из деревни Ярилино. Она полюбила. Полюбила так сильно, что любовь заслонила долг. Она сказала: «Нет. Не пойду. Выбираю жизнь».

И Граница — рухнула.

Земля разверзлась. Ярилино — сорок два двора, двести три души, церковь, мельница, кузница — провалилось в пропасть. За одну ночь. Без предупреждения. Без жалости.

Двести три жизни — цена одного отказа.

После этого — цикл продолжился. Но стал строже. Требовательнее. Жёстче. Как будто мир усвоил урок и больше не был готов к снисходительности.

И вот — снова. Снова весна. Снова овраг. Снова — женщина на краю.

Но эта история будет другой.

Потому что эта женщина придёт не одна.

И мир — мир, привыкший к одинокой жертве, к одинокой боли, к одинокому огню — увидит то, чего не видел тысячу лет.

Двоих.

Но это — позже. Это — впереди.

А пока — пока цикл продолжался. Как продолжался всегда.

Над оврагом дул ветер. Пепел кружился в воздухе — вечный пепел, пепел всех Хранительниц, когда-либо стоявших на этом краю. Лёгкий. Невесомый. Как память, которую нельзя забыть.

# Глава 1

Весна пришла в Чернотопье неохотно, словно боялась задержаться.

Апрель стоял тёплый, почти жаркий. Снег сошёл ещё в конце марта, обнажив чёрную, жирную землю. Болото, всю зиму спавшее под ледяной коркой, ожило. Вода поднялась, разлилась между кочек, затопила старые тропы. Туман стелился по утрам так густо, что в трёх шагах не различить было человека. Он пах прелыми листьями, торфом и ещё чем-то — сладковатым, тревожным, как дыхание зверя, затаившегося в темноте.

Дмитрий Корнеев стоял на крыльце дома и смотрел на это пробуждение с тревогой, которую не мог объяснить. Он пытался анализировать, как привык — раскладывать ощущения на составляющие, искать логику. Но логика молчала, а тревога нарастала.

Дом был небольшим, деревянным, с покосившейся верандой и старой печью внутри. Дом Мороковых. Дом Василисы. Теперь — и его дом тоже. Стены потемнели от времени, но стояли крепко — вековой сруб, ставленный ещё дедом Василисы. На окнах — резные наличники, потерявшие от непогоды краску, но сохранившие тонкий узор: переплетающиеся ветви, птицы, солярные знаки. Василиса говорила, что узор защитный. Корнеев больше не спорил. Три года назад

он приехал сюда следователем, расследовать дело о пропавшей девочке. Три года назад он впервые увидел болото. И Кикимору. И понял, что мир куда шире и страшнее, чем ему казалось.

Три года назад он встретил Василису.

С тех пор многое изменилось. Он остался в Чернотопье. Формально всё ещё числился в следственном комитете — удалённая работа, консультации, иногда выезды в областной центр. Но сердцем, душой он уже принадлежал этому месту. Болоту. Лесу. Тишине. Тридцать три года ему исполнилось в марте. Василиса испекла пирог с брусникой и подарила нож — старинный, с костяной рукоятью, принадлежавший её деду. «Чтобы резал тьму», — сказала она, улыбаясь. Он не был уверен, что она шутила.

И Василисе.

— Дима, чай стынет, — окликнула она из дома.

Корнеев обернулся. Василиса стояла в дверном проёме, держа в руках две кружки. Её тёмно-каштановые волосы были заплетены в косу, тяжёлую, густую, перекинутую через плечо. Зелёные глаза — такие же, как у той женщины из старинных легенд, которую помнили здесь все старики — смотрели на него с лёгкой усмешкой. Она была красивой. Не той красотой, что бросается в глаза на улице города. Другой. Тихой. Глубокой. Красотой, которую замечаешь не сразу, но, заметив однажды, уже не можешь забыть.

— Задумался? — спросила она.

— Задумался, — признал он, поднимаясь по ступенькам. Взял кружку. Чай был крепким, с травами — мятой, зверобоем, иван-чаем. Василиса всегда заваривала травы. Говорила, что так правильнее. Что травы знают, чего не хватает телу, и сами отдают нужное.

Они сели рядом на скамейке. Доска была отполирована временем — сколько поколений Мороковых сидели здесь вот так, глядя на болото? Весеннее утро было тихим. Слишком тихим. Обычно в апреле — пение птиц, стук дятла, кваканье лягушек, проснувшихся после спячки. А сегодня — ничего. Тишина давила, как низкое небо перед грозой.

— Ты тоже это чувствуешь? — тихо спросил Корнеев.

Василиса кивнула. Взгляд её потемнел. Она обхватила кружку обеими руками — не потому что мёрзла, а потому что руки нуждались в чём-то, за что можно держаться.

— Болото... оно не такое, как обычно. Оно... тревожится.

Корнеев знал: когда Василиса говорила о болоте, как о живом существе, это не метафора. Род Мороковых был связан с этими местами так глубоко, что граница между человеком и природой стиралась. Василиса чувствовала болото. Слышала его. Иногда даже разговаривала с ним — хотя об этом никогда не говорила вслух. Он видел это: как она замирала у кромки воды, склонив голову, и стояла так минутами, слушая что-то, недоступное его ушам.

— Что оно... говорит? — спросил он осторожно.

Василиса помолчала. Пригубила чай. Поставила кружку

на перила. Посмотрела на болото — оно расстиралось перед домом, широкое, тёмное, дышащее паром в утреннем свете.

— Ничего. Вот в чём дело. Оно молчит. А когда болото молчит — это хуже, чем когда оно шепчет.

Корнеев нахмурился. Он помнил тот шёпот — низкий, вкрадчивый, идущий откуда-то из глубины торфяных пластов. Шёпот, который сводил с ума. Шёпот Кикиморы. Но Кикимора давно ушла. Её время закончилось. Так же, как закончилось время Лешего, Водяного, Полуночницы. Все они были усмирены. Граница восстановлена.

Разве нет?

Он вспомнил каждую из встреч. Кикимора — в первый год, когда болото затягивало людей в чёрную воду. Леший — в лесу, где тропы вели кругами и деревья двигались, когда на них не смотрели. Водяной — на озере, в восьмидесяти километрах, где лодки переворачивались без причины и рыбаки находили на дне вещи утопленников столетней давности. Полуночница — зимой, в стуже, когда ночью в окна стучало нечто, и те, кто открывал, выходили на мороз и не возвращались.

Четыре встречи. Четыре духа. Четыре раза он стоял на краю — и четыре раза возвращался.

— Может, это просто весна? — предположил он, понимая, что сам не верит. — Разлив. Всё оживает.

— Может быть, — тихо ответила Василиса. Но голос её звучал неуверенно. Она крутила в руках кончик косы —

жест, который Корнеев знал: так она делала, когда нервничала.

Они сидели молча, попивая чай. Где-то вдали каркнула ворона — одиноко, надрывно, как будто звала кого-то. Корнеев вслушался — больше никаких звуков. Ни птиц, ни ветра, ни шороха листвы.

Тишина.

— Мне снился сон, — сказала вдруг Василиса. Голос её дрогнул.

Корнеев повернулся к ней. Её лицо было бледным. Веснушки — мелкие, рыжеватые, которые обычно появлялись весной — казались сейчас тёмными точками на белой бумаге.

— Какой сон?

— Один и тот же. Каждую ночь. Уже неделю.

— Почему ты мне не сказала?

Она опустила взгляд. Провела пальцем по ободку кружки.

— Я думала, что это просто сон. Но сегодня... — Она замолкла. Сжала кружку так сильно, что побелели костяшки пальцев. — Сегодня я проснулась — и моя подушка была в пепле.

Корнеев замер.

— В пепле?

— Да. Серый пепел. Тёплый. Как будто от костра. Но костра не было. Я легла спать — подушка была чистой. Проснулась — вся в пепле. Он был на волосах, на лице, на руках. Я

встала, стряхнула — он был настоящий. Не галлюцинация.

Сердце Корнеева ускорило ритм. Он знал: в этих местах не бывает случайностей. Каждый знак имеет значение. Каждый шёпот — послание. Каждый пепел — след чего-то древнего.

— Расскажи мне про сон, — попросил он. Голос звучал спокойно, профессионально — следовательно в нём включился автоматически. Наблюдай. Запоминай. Анализируй.

Василиса закрыла глаза. Глубоко вздохнула. Утренний ветер — слабый, едва ощутимый — шевельнул прядь волос у её виска.

— Я иду. Ночь. Лес. Но не наш лес — другой. Деревья выше, старше. Стволы как колонны. Впереди — свет. Красноватый, тёплый. Как от костра. Я иду к нему. Не могу остановиться — ноги сами несут. Выхожу на край... оврага. Глубокого. Очень глубокого. Внизу — огонь. Он живой. Дышит. Пульсирует. Поднимается, тянется ко мне, как руки. Я слышу голос. Женский. Старый. Он говорит: «Дитя моё. Время пришло».

— И что дальше?

— Я просыпаюсь. Каждый раз — в этот момент. «Время пришло» — и я открываю глаза. И сердце колотится так, что больно.

Корнеев нахмурился. Овраг. Огонь. Голос. Он запомнил каждое слово. Достал из кармана блокнот — старая привычка, он всегда носил с собой — и записал.

— Ты знаешь этот овраг? Видела его когда-нибудь наяву?

— Нет. Но...

— Но?

— Мне кажется, мама знала. Она что-то писала о нём. В своей тетради.

Тетрадь Марии Мороковой, матери Василисы. Она погибла много лет назад — при странных обстоятельствах, которые так и остались нераскрытыми. Официальная версия — ушла в лес и не вернулась. Тело не нашли. Василисе тогда был год. Её вырастила бабушка, а потом — деревня. Но после матери осталась тетрадь — толстая, в кожаной обложке, исписанная мелким почерком. Записи о духах, о ритуалах, о древних тайнах Чернотопья. Рецепты отваров. Заговоры. Карты троп. Василиса хранила её как реликвию, как единственную нить, связывающую с матерью, которую не помнила.

— Надо посмотреть, — сказал Корнеев.

Василиса кивнула. Встала. Вошла в дом. Корнеев слышал, как она открыла сундук — старый, деревянный, кованый, стоящий в углу спальни. Вернулась с потрёпанной тетрадью в кожаной обложке. Кожа потемнела от времени, но была мягкой, хранящей тепло человеческих рук. Села рядом. Открыла. Страницы пожелтели от времени, на некоторых — пятна от воды или чая. Почерк матери был аккуратным, старательным — почерк человека, который знает, что пишет важное.

Василиса листала. Корнеев смотрел через её плечо. Вот записи о Кикиморе — подробные, с рисунками на полях: силуэт женщины, стоящей по колено в воде. Вот — о Лешем: описание его повадок, сезонных привычек, мест обитания. Вот — о защитных оберегах: какие травы собирать, какие слова говорить, какие знаки чертить на дверях.

А вот — последние страницы.

Почерк здесь был другим. Торопливым. Размашистым. Буквы наползали друг на друга, строчки уходили вкось. Некоторые слова были зачёркнуты — не аккуратно, а яростно, с нажимом, прорывающим бумагу. Некоторые — подчёркнуты так сильно, что чернила прорвали бумагу. Это писал человек в отчаянии. Или в страхе.

«Бабий Яр. Урочище. 10 км к северу. Нельзя. НЕЛЬЗЯ. Она там. Мать. Ждёт. Цикл. Цикл не должен... не может...»

Дальше — неразборчивые каракули, в которых Корнеев с трудом различил отдельные слова: «Граница», «огонь», «пепел», «дочь».

А потом — одна строка, написанная крупными буквами, каждая — как крик:

**«ГРАНИЦА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВЫ. ВСЕГДА. ОДНУ ИЗ РОДА».**

Василиса захлопнула тетрадь. Руки её дрожали. Она прижала тетрадь к груди, как ребёнка.

— Что это значит? — спросила она. Голос был тихим, хриплым.

Корнеев молчал. Он не знал. Но инстинкт следователя — выработанный годами работы, обострённый опытом встреч с нечистью, отточенный страхом и выживанием — кричал: опасность. Близко. Очень близко. Рядом. За спиной.

— Нам нужно найти это место, — сказал он. — Урочище Бабий Яр.

— Зачем?

— Потому что, если твоя мать боялась его так сильно, что не могла даже писать связно... значит, это место важно. Значит, там — ответ. Или хотя бы вопрос, который мы должны задать.

Василиса посмотрела на него. В зелёных глазах плескался страх. Но и решимость тоже. Та самая решимость, которую он видел в ней с первого дня — сила женщины, которая знает, что мир не добр, но не сдаётся.

— Хорошо, — тихо сказала она. — Найдём.

Они не знали ещё, что это решение изменит всё.

Не знали, что через две недели мир, который они знали, начнёт рушиться.

Не знали, что пепел на подушке — это только начало.

Над болотом поднялся туман. Густой. Белый. Он полз между деревьев, окутывал дом, стирал горизонт. Капли росы на траве блестели, как маленькие зеркала, и в каждом отражалось серое небо. И где-то далеко, в глубине этого тумана, что-то зашевелилось. Что-то древнее. Что-то, что ждало своего часа целую вечность.

Время пришло.

Весь день Корнеев провёл за картами. Достал из кладовки старые геодезические листы, которые нашёл ещё в прошлом году при разборке чердака. Раскатал их на столе, прижал по углам кружками. Изучал район к северу от деревни. Рощи, овраги, ручьи, заболоченные поляны. Искал что-нибудь похожее на «Бабий Яр». Ничего. На современных картах — пустота. Лес да болото, без названий, без отметок.

Но была ещё одна карта — та, которую Корнеев привёз из областного архива год назад, когда расследовал дело Водяного. Старая, девятнадцатого века, на пожелтевшей, ломкой бумаге. Он достал её из конверта, развернул осторожно.

И нашёл.

На старой карте, в десяти километрах к северу от того места, где стояло Чернотопье, был значок — крест в круге. Рядом — мелкая надпись, почти стёршаяся: «Ур. Бабій Яръ. Обходити». И ниже, ещё мельче: «Мѣсто проклятое».

Корнеев долго смотрел на карту. Потом аккуратно перерисовал значок и координаты в блокнот. Место проклятое. Обходити. Какой архивариус писал это? Какой знал, что спустя двести лет кто-то прочтает его предупреждение — и не послушает?

Вечером, когда солнце село за лес и сумерки затопили деревню серо-синим полумраком, Василиса вышла на крыльцо. Встала рядом. Молчала. Смотрела на болото, которое уже тонуло в тумане.

— Я нашёл его на карте, — сказал Корнеев.

— Я знаю, — ответила она.

Он удивлённо посмотрел на неё.

— Откуда?

— Я чувствую. — Она коснулась виска. — Здесь. Как компас. Я всегда знала, где это место. Просто... не хотела знать.

Корнеев обнял её. Она прижалась к нему, маленькая и тёплая. Сердце её билось быстро, как у пойманной птицы.

— Мы разберёмся, — прошептал он. — Я обещаю.

Она не ответила. Только крепче прижалась.

Ночью Корнеев долго не мог уснуть. Лежал, прислушиваясь к тишине за окном. Тишина была абсолютной — ни лягушек, ни совы, ни ветра. Даже половицы не скрипели. Мир словно задержал дыхание.

А потом — на самой грани слышимости — он различил звук. Далёкий. Низкий. Как стон. Или как дыхание чего-то огромного.

Болото дышало.

Корнеев закрыл глаза и заставил себя уснуть. Но сны его были беспокойны — овраг, пламя, женский голос, говорящий слова, которые он не мог разобрать. И пепел. Повсюду пепел.

## Глава 2

Утро четырнадцатого апреля началось с крика.

Корнеев проснулся от того, что кто-то отчаянно колотил в дверь. Василиса уже сидела на кровати, вслушиваясь. Весеннее солнце едва пробивалось сквозь плотные шторы, окрашивая комнату в серо-жёлтые тона. Часы на стене показывали шесть утра.

— Морокова! Морокова, открывай! — раздался хриплый мужской голос.

Корнеев узнал его мгновенно. Пётр Лукьянович, местный рыбак. Старик за семьдесят, проживший у болота всю свою жизнь. Корнеев ни разу не слышал, чтобы Пётр Лукьянович кричал. Даже когда три года назад в деревне творилось что-то непонятное, старик оставался невозмутим, как вековой дуб. Он был из тех людей, которые считают, что крик — признак слабости, и что настоящий мужчина должен встречать любую беду молча, с прямой спиной.

Но сейчас в его голосе звучал настоящий ужас.

Василиса быстро накинула халат и выбежала из спальни. Корнеев последовал за ней, на ходу натягивая свитер. Она распахнула дверь — и отшатнулась.

Пётр Лукьянович стоял на крыльце. Одежда его была мокрой, покрытой илом и водорослями. Резиновые сапоги хлюпали, оставляя грязные следы. Лицо — серым, как у покой-

ника. Руки тряслись. В глазах плескался первобытный страх — тот самый, который не знает логики, только инстинкт. Страх добычи, учуявшей хищника.

— Мёртвая, — выдохнул он. — Вся мёртвая. Вся рыба. Вся.

Василиса и Корнеев переглянулись.

— Петрович, успокойтесь, — мягко сказала Василиса. — Войдите. Расскажите, что случилось.

Старик шагнул через порог. Ноги его подкашивались. Корнеев подхватил его под локоть, усадил на стул у стола. Василиса быстро поставила чайник на плиту, достала валерьянку из аптечки. Она двигалась привычно, уверенно — знахарка, умеющая обращаться с людьми в шоке.

Пётр Лукьянович сидел молча, уставившись в одну точку. Дыхание его было частым, прерывистым. Пальцы, корявые, с взъевшейся в кожу рыбьей чешуёй, судорожно сжимали край стола.

— Я с самого утра на болоте был, — заговорил он наконец. Голос дрожал. — Сети проверял. Вчера ставил, на лещей. Всегда там лещ хороший, знаете же. Всегда. Отец мой там ставил, и дед его ставил, и его дед тоже.

Он замолк. Сглотнул.

— И что? — тихо спросил Корнеев.

— Вытянул сеть — а там... — Старик поморщился, словно от боли. Провёл рукой по лицу, размазывая ил. — Рыба вся мёртвая. Не снулая — мёртвая. Давно мёртвая. Глаза белые.

Жабры почернели. И запах...

— Какой запах? — спросила Василиса. Она поставила перед стариком кружку с чаем, села напротив.

— Пепел. Как будто костёр погас. Понимаете? Рыба пахнет пеплом. Живая рыба в болоте — и пахнет пеплом.

Корнеев почувствовал, как по спине прошёл холодок. Пепел. Снова пепел. Подушка Василисы. Последние страницы тетради. И вот теперь — рыба.

— А сеть? — уточнил он.

Пётр Лукьянович медленно повернул голову к нему. Глаза — мутные, влажные — смотрели в упор.

— Сгорела.

— Что?

— Сгорела. Я её тянул — а она в руках превращается в угли. В воде. Понимаете? В ВОДЕ сгорела. Нитка за ниткой. Я держал — и она рассыпалась. На руках — пепел. Вот, глядите.

Он протянул ладони. Корнеев наклонился. На коже — тёмные полосы, как от ожогов, но не красные, а серые. Следы сгоревшей сети. Сеть сгорела в руках, в воде, без огня.

Василиса побледнела. Взяла руки старика в свои, осмотрела внимательно. Провела пальцем по серым полосам. Закрыла глаза. Открыла.

— Это не ожог, — тихо сказала она. — Это... метка. Что-то пометило вас, Пётр Лукьянович. Что-то из воды.

Старик вздрогнул. Отдёрнул руки.

— Покажете нам место? — спросил Корнеев.

Старик кивнул. Помедлил. Потом тихо сказал:

— Я на болоте всю жизнь. Семьдесят два года. Видел всякое. Провалы видел, огни болотные видел, даже Кикимору, может, видел — хотя кто ж признается. Но такого... такого никогда не было. Болото... оно как будто злится. Нет — не злится. Боится. Болото боится, Морокова. Я это чувствую.

Василиса кивнула. Она тоже это чувствовала.

Через двадцать минут они были на болоте.

Апрельское утро было ясным, почти безоблачным. Солнце стояло уже высоко, но тепла от него не чувствовалось — холод шёл от земли, от воды, снизу, как дыхание подвала. Воздух пах водой, прелыми листьями, оттаявшей землёй. Обычные весенние запахи. Но под ними — едва уловимый, тонкий, как нитка дыма — запах гари.

Корнеев остановился, втянул воздух носом. Да. Гарь. Словно где-то вдалеке горел лес. Но дыма не было — небо чистое, голубое, промытое ночным дождём.

Они шли по краю болота. Вода поднялась высоко — весенний разлив затопил все привычные тропы. Приходилось идти вдоль берега, перепрыгивая через лужи и ручьи. Пётр Лукьянович шёл впереди, молча, опираясь на длинную палку. Шаг его был тяжёлым, но уверенным — он знал каждую кочку, каждый корень.

Через полчаса они вышли к месту.

Здесь болото разливалось широко, образуя почти озеро.

Вода была тёмной, почти чёрной — торф окрашивал её в цвет крепкого чая. На поверхности плавали жёлтые кувшинки, ещё не распустившиеся, и островки мха. Берёзы стояли по колено в воде, их белые стволы отражались в чёрной глади, как кости в темноте.

А посреди этого — мёртвая рыба.

Корнеев присел на корточки у самой воды. Рыба лежала брюхом вверх, покачиваясь на лёгкой ряби. Лещи, плотва, окуни, щуки. Десятки. Может быть, сотни — дальше, к середине озерца, их было не разглядеть, только белые пятна на чёрной воде, как звёзды на ночном небе.

Он вытащил одного леща. Рыба была холодной, скользкой, тяжёлой. Глаза — мутно-белые, как у слепца. Жабры — почернели, словно обуглились. И запах...

Корнеев поднёс рыбу к лицу. Понюхал.

Пепел. Запах костра, прогоревшего до конца. Запах угольев, остывших в ночи. И ещё что-то — горьковатое, древнее, как запах камней в старом храме.

— Это ненормально, — прошептала Василиса рядом. Она стояла на берегу, вглядываясь в воду. Лицо её было бледным, скулы заострились.

— Рыба не пахнет пеплом, — согласился Корнеев. — И не умирает вся разом. Если это отравление — должны быть другие признаки. Если это недостаток кислорода — рыба бы задохнулась, но не почернела. Это...

— Это неправильно, — закончила Василиса.

Корнеев поднялся. Отбросил леща обратно в воду. Вытер руки о траву. Трава была мокрой от росы, но запах пепла остался на пальцах.

— Пётр Лукьянович, покажите, где была сеть.

Старик молча подошёл к воде, показал рукой на место метрах в пятнадцати от берега, где торчал из воды покосившийся деревянный кол.

— Там. Привязывал к колышку. Вон, он ещё стоит. А сети нету. Только пепел.

Корнеев прошёл вдоль берега, всматриваясь. Вода здесь была мутной, дна не видно. Но на поверхности, вокруг кола, плавало что-то серое. Он подошёл ближе, осторожно ступая по скользкому берегу.

Пепел. Просто пепел, как от сгоревшей бумаги. Он лежал на воде тонкой плёнкой, не тонул, покачивался на ряби.

Он опустил руку в воду, зачерпнул пригоршню. Пепел осел на ладони — влажный, холодный. Корнеев растёр его пальцами. Мелкие частицы, как мука. Или как пудра.

— Дима, — тихо позвала Василиса.

Он обернулся. Она стояла шагах в десяти, глядя на воду. Её глаза были широко раскрыты. Руки, прижатые к груди, мелко дрожали.

— Смотри.

Корнеев подошёл. Посмотрел туда, куда она указывала.

Вода светилась.

Не ярко. Едва заметно. Зеленоватое свечение, идущее от-

куда-то из глубины. Оно пульсировало, то усиливаясь, то затухая. словно под водой билось огромное сердце. Ритм был медленным — вдох, выдох, вдох, выдох. Как дыхание спящего великана.

— Что это? — выдохнул Корнеев.

— Не знаю, — прошептала Василиса. — Но это... это плохо. Очень плохо. Это не болотный газ. Не фосфор. Это... живое.

Они стояли молча, глядя на воду. Свечение было гипнотизирующим. Хотелось смотреть на него, не отрываясь. Хотелось шагнуть в воду. Подойти ближе. Посмотреть, что там, в глубине. Узнать. Понять. Стать частью.

Корнеев почувствовал, как ноги делают шаг вперёд. Потом ещё один. Вода коснулась подошв сапог — холодная, ледяная. Но он не остановился. Шаг. Ещё шаг. Вода уже по щиколотку.

— Дима! — Василиса схватила его за руку, рывком развернула к себе. — Не смотри на него! Не слушай!

Корнеев моргнул. Встряхнул головой. Мир вокруг вдруг стал резким, ярким, как после сна. Он стоял по колена в воде. Когда он успел зайти так далеко?

— Что... что это было?

— Оно пытается тебя позвать, — прошептала она. — Пытается затянуть. Как Кикимора — помнишь? Но сильнее. Гораздо сильнее.

— Болото?

— Не болото. То, что в болоте. То, что проснулось.

Корнеев глубоко вздохнул. Выбрался из воды. Сапоги хлюпали. Ноги онемели от холода. Он отвернулся от воды. Посмотрел на Василису.

— Это из-за того оврага, да? Из-за того места, что приснилось тебе? Из-за Бабьего Яра?

Она кивнула. Взяла его за руку. Сжала.

— Граница истончается. То, что было по ту сторону — просачивается сюда. Рыба умерла не от яда. Она умерла от соприкосновения с Навью. С тем, что по ту сторону. Навь — это смерть, Дима. Чистая, абсолютная. И она просачивается.

— А это свечение...

— Это один из признаков. Их будет больше. Чем тоньше Граница — тем больше будет проявлений. Вода. Лес. Воздух. Всё начнёт меняться.

Пётр Лукьянович подошёл к ним. Лицо его всё ещё было серым, но в глазах появилась какая-то мрачная решимость.

— Что мне делать? — спросил он хрипло. — Я рыбак. Рыбы нет. Что мне делать?

Василиса повернулась к нему. Положила руку на плечо. Маленькая ладонь на широком, сутулом плече.

— Не ходите на болото, — сказала она. — Ни вы, ни другие. Не ходите. Пока не пройдёт.

— А пройдёт?

Василиса помедлила. Потом тихо сказала:

— Должно.

Старик посмотрел ей в глаза. Кивнул. Он верил Мороковой. Здесь все верили Мороковым — из поколения в поколение. Потому что Мороковы никогда не обманывали.

Они вернулись в деревню в полдень.

Весть о мёртвой рыбе разлетелась быстро — как всегда в маленьких деревнях, где каждое слово летит от дома к дому быстрее ветра. К вечеру все в Чернотопье знали. Некоторые не поверили — пошли проверять сами. Вернулись бледные, молчаливые. Нюра, молодая соседка, прибежала к Василисе за советом: «Что делать? Что делать-то, Морокова?» Василиса велела ей закрыть ставни и не выходить ночью.

Василиса весь день сидела в доме, перечитывая тетрадь матери. Искала хоть какое-то упоминание о свечении, о мёртвой рыбе, о пепле в воде. Находила обрывки — «вода чернеет перед приходом», «рыба умирает первой», «Граница трещит — слушай воду» — но ничего цельного. Записи обрывались, как будто мать не успела дописать. Или не захотела.

Корнеев сидел рядом, молча. Думал. Анализировал. Строил версии — профессиональная привычка, без которой не мог.

Версия первая: природная аномалия. Выброс метана со дна болота. Объясняет свечение, может объяснить гибель рыбы. Но не объясняет запах пепла. Не объясняет сгоревшую в воде сеть. И уж точно не объясняет пепел на подушке Василисы.

Версия вторая: техногенная катастрофа. Утечка химикатов. Но откуда, в такой глуши? Ближайший завод — за сто километров. И опять же — свечение, пульсация, зов.

Версия третья...

Он не хотел думать о третьей версии. Но она навязывалась сама собой, громкая, как набат.

Версия третья: сверхъестественное. Граница, о которой говорила Василиса, действительно истончается. То, что раньше было отделено от мира людей — теперь просачивается. Кикимора, Леший, Водяной, Полуночица — всё это были лишь отдельные проявления. Щели в стене. А сейчас стена трещит.

Сейчас что-то большее приходит.

Ночью Корнеев не мог уснуть. Лежал, глядя в потолок. Василиса спала рядом, но сон её был беспокойным — она ворочалась, бормотала что-то неразборчивое. Он различил слово «мама». Потом — «пепел». Потом — что-то на языке, которого не знал.

В три часа ночи к дому подбежала Нюра. Она колотила в дверь, кричала:

— Василиса! Дмитрий Иванович! Выходите! Быстрее!

Корнеев вскочил с кровати, натянул штаны, выбежал на крыльцо. Нюра стояла босиком, в одной ночной рубашке. Волосы растрепаны, лицо перекошено от страха.

— Болото! — кричала она. — Смотрите на болото!

Корнеев повернулся.

И обомлел.

Болото светилось.

Не едва заметным зеленоватым светом, как днём. Ярким. Насыщенным. Зелёным, как изумруд. Свечение поднималось от воды, окутывало туман, окрашивало небо. Казалось, будто само болото горит — но не красным пламенем, а этим мёртвым, холодным, зелёным огнём. Свет был везде — проникал сквозь деревья, ложился на стены домов, окрашивал землю. Деревня утонула в зелёном мареве.

Василиса вышла на крыльцо. Остановилась рядом с Корнеевым. Смотрела молча. Лицо её в зелёном свете казалось неживым, как фарфоровая маска.

— Господи, — прошептала Нюра. — Что это? Что это такое?

Никто не ответил.

По деревне уже зажигались окна. Люди выходили из домов, смотрели на болото. Кто-то крестился. Кто-то молчал. Кто-то плакал. Анна Васильевна, старожилка, упала на колени прямо на землю и начала молиться. Пётр Лукьянович стоял посреди улицы, опираясь на палку, и смотрел на болото немигающим взглядом. Лицо его не выражало ничего — ни страха, ни удивления. Только усталость.

Корнеев спустился с крыльца. Шагнул к дороге. Зелёный свет падал на землю, на дома, на лица людей. Всё окрасилось в мертвенный оттенок. Даже воздух, казалось, стал зелёным — густым, тягучим, как болотная вода.

И тут он услышал шёпот.

Тихий. Едва различимый. Но он был. Множество голосов, говорящих одновременно. Бормочущих. Зовущих. Умоляющих.

«Идите. Идите. Идите к нам. Вода ждёт. Болото зовёт. Идите.»

Корнеев зажал уши ладонями. Шёпот не стих. Он шёл не снаружи. Он звучал в голове. Проникал через кости, через кожу, через самую ткань мыслей.

— Дима! — Василиса была рядом. Схватила его за плечи. Развернула к себе. — Не слушай! Не слушай их!

— Они зовут, — прошептал он. — Они хотят, чтобы я пришёл.

— Не ходи. Слышишь? Не ходи.

Он посмотрел ей в глаза. Зелёный свет отражался в её зрачках — две маленькие зелёные звезды.

— Что это, Вася? Что происходит?

Василиса молчала. Потом медленно повернулась к болоту. Зелёный свет лёг на её лицо, и Корнеев увидел — нет, почувствовал, — как что-то в ней откликнулось на этот зов. Не страхом — узнаванием.

— Она просыпается, — прошептала она. — Мать. Она просыпается. И когда она проснётся до конца...

— Что?

Василиса закрыла глаза. По щекам её потекли слёзы — в зелёном свете они казались каплями изумруда.

— Мир изменится. Навсегда.

Они стояли на крыльце, держась за руки, и смотрели на зелёное свечение. Деревня стояла вокруг них — тёмные дома, бледные лица в окнах, тишина, прорезанная только шёпотом, который слышал каждый. А где-то далеко, за туманом, за границей видимого мира, что-то огромное, древнее и неумолимое продолжало просыпаться.

И ничто не могло это остановить.

## Глава 3

Джип появился в Чернотопье на следующий день после того, как болото светилось всю ночь.

Корнеев слышал его ещё издалека — рёв мощного двигателя, несвойственный этим тихим местам, где самым громким звуком был лай собаки да скрип колодезного ворота. Машина была яркой, кричащей: чёрный металлик, хромированные детали, тонированные стёкла. На крыше — багажник с прожекторами и антеннами. На капоте — наклейка с пентаграммой и готическими буквами: «ЧЕРНОКНИЖНИК». На бортах — ещё наклейки: руны, черепа, перевёрнутые кресты. Машина выглядела так, будто её оформлял подросток, насмотревшийся фильмов ужасов.

Джип влетел в деревню на скорости, обдав грязью покосившийся забор дома Анны Васильевны, затормозил посреди единственной улицы, заглушил мотор. Из выхлопной трубы вырвалось облако сизого дыма, поплыло над грунтовой дорогой.

Из машины вышел мужчина лет сорока. Высокий, широкоплечий, с тщательно уложенными назад волосами и аккуратной бородой клинышком. Красивый — тем нагловатым, самоуверенным типом красоты, который нравится одним и раздражает других. Одет во всё чёрное: кожаная куртка, чёрная водолазка, джинсы, ботинки с массивными пряжками.

На шее — несколько цепей с подвесками: пентаграммы, руны, какие-то символы, значения которых он, скорее всего, не знал. На пальцах — кольца с камнями.

Он оглядел деревню — медленно, оценивающе, как режиссёр осматривает натурную площадку — улыбнулся белозубой, отрететированной улыбкой, достал из кармана телефон, поднёс к лицу.

— Привет, мои тёмные, — произнёс он в камеру. Голос громкий, уверенный, театральный, поставленный. — Мы на месте. Чернотопье. Деревня, где, по легендам, водится настоящая нечисть. Болота, туманы, дикие леса. Здесь пропали люди. Здесь видели призраков. Здесь каждый камень пропитан мистикой. Сегодня мы узнаем, правда это или байки. Чернокнижник не отступает перед тайной!

Из джипа вылезли ещё двое: парень лет двадцати пяти с профессиональной видеокамерой на плече — худой, рыжеволосый, с веснушками и сонными глазами — и девушка примерно того же возраста с планшетом и рюкзаком, из которого торчали провода, батареи и штативы. Девушка была бледной, хрупкой, с тёмными кругами под глазами — то ли не выспалась, то ли устала от жизни рядом со своим боссом.

Семён Жарков — именно так звали «Чернокнижника», хотя настоящее имя мало кто помнил среди полумиллиона его подписчиков. Блогер-окультист. Исследователь паранормального. Повелитель тёмных сил. Так значилось в шапке его канала. В реальности — выпускник Литературного

института, бывший копирайтер, нашедший золотую жилу в том, что люди любят бояться.

— Арсений, снимай всё! — скомандовал он парню с камерой. — Каждый дом, каждый забор. Это — декорация мечты. Наши зрители обожают такой антураж.

Арсений молча поднял камеру.

— Алёна, проверь связь. Мне нужен стабильный стрим отсюда.

Девушка с планшетом — Алёна — кивнула. Начала что-то набирать.

Корнеев наблюдал за ними из окна. Рядом стояла Василиса. Они смотрели молча, как Жарков расхаживал по улице, снимая себя на камеру, жестикулируя, говоря что-то восторженное.

— Блогер, — констатировал Корнеев.

— Вижу, — сухо ответила Василиса. — Нам только его здесь не хватало.

— Я разберусь.

Корнеев вышел из дома. Прошёл по улице к джипу. Жарков увидел его, улыбнулся ещё шире — увидел в Корнееве персонажа для контента: «Суровый местный житель».

— Здравствуйте! — Жарков протянул руку. — Семён Жарков, канал «Чернокнижник». Может, слышали?

— Нет, — сказал Корнеев, не пожимая руки. — Кто вы такой и что делаете в деревне?

Жарков опустил руку, но улыбку не убрал. Профессионал

— он привык к холодному приёму. Даже извлекал из него выгоду.

— Я исследователь паранормальных явлений. Блогер. У меня полмиллиона подписчиков. Мы снимаем документальный контент о настоящей русской мистике. И Чернотопье — одно из самых интересных мест на карте.

— Это частная деревня, — сказал Корнеев. — Здесь живут люди. Не экспонаты.

— Конечно, конечно! — Жарков примирительно поднял руки. — Мы не собираемся никому мешать. Просто посмотрим, поснимаем, поговорим с местными. Свобода прессы, свобода передвижения, всё такое. Я знаю свои права.

Корнеев посмотрел на него. Холодно. Оценивающе. Он видел таких. Много раз. Уверенных в себе, наглых, убеждённых в собственной неуязвимости. Они приходили, делали что хотели, и уходили, оставляя за собой хаос. В городе с ними можно было бороться — законом, протоколом, давлением. Здесь, в глуши, — закон был далеко.

— Я бывший следователь, — сказал Корнеев. Тихо. Без нажима. — И если вы создадите проблемы для жителей — я создам проблемы для вас. Понятно?

Жарков чуть сузил глаза. Улыбка стала натянутой.

— Понятно, товарищ следователь. Мы будем паиньками.

Он повернулся к камере Арсения — тот снимал всё — и подмигнул:

— Видали? Местная полиция уже нас предупредила. Зна-

чит, есть что скрывать! Чернокнижник на верном пути, мои тёмные!

Корнеев развернулся и ушёл. Спорить с идиотом, который превращает всё в контент, — бесполезно. Это он знал по опыту.

Но тревога усилилась.

Вечером Жарков устроил «знакомство» с деревней. Ходил от дома к дому, стучал, представлялся, просил рассказать «страшные истории». Большинство жителей захлопывали дверь перед его носом — здесь не любили чужаков. Но некоторые говорили. Старики, которым было одиноко. Дети, которым было любопытно.

Жарков записывал всё. Снимал. Монтировал. К ночи выложил первый ролик: «Чернотопье — деревня, где живёт нечисть». Десять минут атмосферного видео: туман, покосившиеся дома, интервью со стариками. Красивая, профессиональная работа. Надо отдать ему должное — снимать он умел.

Ролик набрал пятьдесят тысяч просмотров за три часа.

Корнеев узнал об этом от Василисы — она случайно наткнулась, проверяя прогноз погоды на телефоне. Они смотрели ролик вместе, сидя за кухонным столом. Чай остывал в кружках.

— Он назвал меня «местной ведьмой», — тихо сказала Василиса, когда на экране появился кадр их дома с подписью: «Здесь живёт потомственная знахарка. Совпадение? Не

думаю!»

— Идиот, — процедил Корнеев.

— Опасный идиот, — поправила Василиса. — Он привлечёт внимание. Сюда поедут люди. Любопытные. А сейчас — худшее время для этого.

Корнеев кивнул. Она была права. Болото светилось. Рыба погибала. Граница истончалась. И в этот момент в Чернотопье врывается шоумен с камерой, который хочет «разбудить духов».

Он не знал ещё, что Жарков способен на большее. Не знал, что этот человек — не просто раздражающий блогер, а катализатор, который ускорит всё.

Не знал, что через несколько дней Жарков найдёт урочище Бабий Яр.

И откроет дверь, которую нельзя было открывать.

На следующий день Жарков начал расспрашивать стариков о «местах силы». Ходил с блокнотом, записывал, помечал на карте. Арсений снимал всё на камеру. Алёна вела прямую трансляцию в соцсетях — бледное лицо, усталые глаза, монотонный голос: «Мы продолжаем исследование Чернотопья. Семён убеждён, что здесь есть древнее капище».

Старики рассказывали разное. О болоте, которое затягивает. О лесе, в котором плутают. О тропах, которые ведут не туда. Но один рассказ зацепил Жаркова сильнее других.

Анна Васильевна, та самая, чей забор обдал грязью его джип, неожиданно оказалась разговорчивой. Может быть,

потому что Жарков принёс ей городских конфет. Может быть, потому что старушке было одиноко. Она села на лавочку у забора и начала говорить.

— Мамка моя рассказывала, — говорила она, кутаясь в платок. — К северу есть овраг. Глубокий. Страшный. Мамка его Бабьим Яром звала. Говорила — там Баба-Яга живёт. Не ходи, говорила. Кто ходит — не возвращается.

Жарков наклонился вперёд. Глаза его загорелись.

— Бабий Яр? Где именно?

— Да я-то не знаю. Никогда не ходила. Мамка запрещала. Строго-настрога. Сказала — проклятое место. Земля там горячая, деревья кривые, птицы не летают. И пеплом пахнет. Всегда пахнет пеплом.

— Пеплом? — Жарков быстро записывал.

— Ага. Мамка говорила — там костёр горел. Давно. Тысячу лет назад. И до сих пор не погас. Под землёй горит.

Жарков улыбнулся. Широко. Хищно.

Он нашёл то, что искал.

Корнеев узнал об этом слишком поздно. Когда Жарков уже собирал оборудование. Когда джип уже был загружен камерами и генераторами. Когда на экранах пятидесяти тысяч зрителей уже появилась надпись: «СЕГОДНЯ НОЧЬЮ — РИТУАЛ НА ДРЕВНЕМ КАПИЩЕ».

Корнеев перехватил его у джипа.

— Куда вы собрались?

— На север, — ответил Жарков, затягивая ремень на ба-

гажнике. — Есть место. Овраг. Местные его боятся. Значит, там что-то есть.

— Вы не знаете, куда лезете.

— А вы знаете?

Корнеев сжал кулаки.

— Послушайте, Жарков. Я не шучу. В этих местах... вещи не всегда такие, какими кажутся. Вы можете наделать бед.

Жарков посмотрел на него. Снисходительно.

— Следовательно, я ценю вашу заботу. Правда. Но я делаю это пятнадцать лет. Объехал всю Россию. Был в заброшенных церквях, на кладбищах, в лесах. Ничего. Никогда. Это всё легенды. Красивые, атмосферные, но — легенды. Я просто даю людям то, что они хотят: страх и загадку. Развлечение.

— А если на этот раз — не легенды?

Жарков рассмеялся.

— Тогда это будет лучший контент в истории моего канала.

Он сел в джип. Завёл мотор. Помахал рукой.

— Не переживайте, следовательно. Всё будет хорошо. Мы просто пошумим и уедем.

Джип рванул с места, обдав Корнеева грязью.

Корнеев стоял на дороге и смотрел вслед. Внутри него всё кричало: остановить. Но как? У него не было полномочий. Не было закона, запрещающего ехать в лес. Не было ничего, кроме интуиции и страха.

Он вернулся в дом. Василиса стояла у окна. Повернулась к нему.

— Он поехал?

— Да.

— К оврагу?

— Да.

Василиса закрыла глаза.

— Тогда молись, — прошептала она. — Молись, чтобы он ничего не нашёл.

Но оба знали: он найдёт. Потому что овраг ждал. Потому что то, что в нём спало, хотело быть найденным.

И Жарков — наглый, самоуверенный, невежественный — был идеальным ключом к замку, который лучше бы оставался запертым.

Ночь тянулась медленно.

Корнеев сидел на кухне, пил чай и ждал. Ждал чего — не знал. Может быть, возвращения Жаркова. Может быть, звука сирен. Может быть, просто рассвета.

Василиса не спала тоже. Она сидела в кресле, укутавшись в шерстяной платок, и перебирала сухие травы — мяту, полынь, чабрец. Растирала их между пальцами, нюхала, откладывала. Это был её способ успокоиться — руки заняты, голова думает.

— Расскажи мне о Бабе-Яге, — попросил Корнеев.

Василиса подняла глаза.

— Что именно?

— Всё, что знаешь. Не из сказок. Из тетради матери. Из того, что чувствуешь.

Она помолчала. Положила травы на стол. Сложила руки на коленях.

— Мама писала мало. Как будто боялась слов. Но кое-что я нашла. Баба-Яга — не дух. Не демон. Она — Привратница. Стоит на Границе между нашим миром и Навью. Между живым и мёртвым. Между тем, что есть, и тем, что было.

— Зачем?

— Чтобы Граница держалась. Без неё — Навь хлынет сюда. Мёртвые. Духи. Голод. Пустота. Всё то, что по ту сторону. Оно не злое. Оно просто... другое. Несовместимое с жизнью. Как вода несовместима с огнём.

— И Баба-Яга одна это удерживает?

— Не одна. С помощью Хранительниц. Женщин, которые... — Василиса запнулась. Голос дрогнул. — Которые уходят за Границу и становятся частью неё. Каждое поколение. Одна женщина. Из определённого рода.

Корнеев почувствовал, как что-то холодное сжало сердце.

— Из какого рода?

Василиса посмотрела на него. В зелёных глазах стояли слёзы.

— Ты уже знаешь.

— Мороковы.

Она кивнула.

Тишина повисла между ними, тяжёлая, как каменная пли-

та. За окном — ни звука. Даже ветер молчал.

— Это не может быть правдой, — сказал Корнеев. Но голос его звучал неуверенно.

— Три года назад ты говорил то же самое о Кикиморе, — тихо ответила Василиса.

Он не нашёлся что сказать.

В четыре утра за окном мелькнули фары. Рёв двигателя — громкий, надрывный. Джип Жаркова влетел в деревню на бешеной скорости, затормозил у дома Марфы — пустующего, где команда Жаркова устроила себе базу.

Корнеев подошёл к окну. Увидел, как из джипа вывалились трое: Жарков, Арсений, Алёна. Даже в темноте было видно — с ними что-то не так. Жарков шатался. Арсений нёс Алёну на руках — она была без сознания или в истерике, тело обмякло. Они ввалились в дом. Дверь захлопнулась.

Корнеев хотел пойти к ним. Но Василиса положила руку ему на плечо.

— Подожди до утра, — сказала она. — Что бы они там ни увидели — утро лучшее время для правды. Ночью люди лгут. От страха или от стыда.

Он послушал. Сел обратно. Ждал.

А за окном, на северном горизонте, где-то за лесом, за десять километров от деревни, едва заметно светилось небо. Не зелёным, как болото. Красноватым. Как от далёкого пожара.

Или от костра, который горит тысячу лет и никак не может

погаснуть.

## Глава 4

Жарков не был дураком. Наглым — да. Самоуверенным — безусловно. Но не дураком.

Три дня он провёл в Чернотопье, изучая местность. Разговаривал со старожилами, записывал легенды на диктофон, изучал карты — современные и старинные, которые нашёл в областном архиве. По вечерам сидел в доме Марфы при свете ноутбука, сверяя данные. Алёна мониторила чат канала, собирая наводки от подписчиков — среди полумиллиона нашлись местные, нашлись краеведы, нашлись энтузиасты, копавшие историю Чернотопья.

И нашёл несоответствие.

На современной карте, в десяти километрах к северу от деревни, была обозначена просто роща. Ничего примечательного — зелёный массив, без названий, без пометок, без дорог. Обычная северная тайга. Но на старой карте, от начала XIX века, это место было отмечено особым знаком — крестом в круге. И надписью мелким церковнославянским шрифтом: «Урочище Бабий Яр. Обходити».

Жарков знал достаточно, чтобы понять: когда старые картографы пишут «обходити» — это не рекомендация. Это предупреждение. Места, помеченные так, считались проклятыми. Там не косили, не пасли скот, не рубили лес. Их обходили стороной, и даже дороги прокладывали так, чтобы не

приближаться.

Он улыбнулся. Это то, что ему нужно. Место силы. Запретное. Опасное. Идеальный контент. Десять миллионов просмотров. Минимум.

Жарков открыл карту на ноутбуке. Наложил старую карту на современную. Подписчик-краевед помог с привязкой координат. Место нашлось — в лесу, вдали от любых дорог, на участке, который даже лесники обходили стороной.

Вечером двадцать второго апреля он объявил подписчикам: «Сегодня ночью проведу ритуал на месте древнего капища. Это будет эпично. Оставайтесь на связи».

Онлайн-счётчик взлетел до пятидесяти тысяч зрителей. Донаты посыпались дождём. «Вызови Бабу-Ягу!», «Жги пентаграмму!», «Зови духов!». Жарков читал и улыбался. Деньги текли рекой.

Жарков, Алёна и Арсений загрузились в джип. Взяли оборудование: камеры, прожекторы, свечи, ритуальные атрибуты. Ноутбук для стрима, спутниковый модем для интернета. Генератор. Термосы с кофе. Бутылку водки — «для храбрости», как сказал Жарков, подмигнув в камеру.

Ехали по лесной дороге. Вернее, по направлению, где дорога когда-то была. Сейчас остались только колеи, заросшие травой, заваленные упавшими ветками. Джип рычал, продираясь сквозь подлесок. Фары выхватывали из темноты стволы деревьев — белые берёзы, чёрные ели. Лес был густым, и чем дальше на север, тем гуще становился. Деревья стояли

плотно, как стражи, не пропуская свет.

Алёна нервничала. Сидела на заднем сиденье, вцепившись в планшет, и смотрела в навигатор.

— Семён, связь пропадает. Через километр потеряем сигнал спутника.

— Мы записываем локально. Выложим потом.

— Мне здесь не нравится, — тихо сказала она.

— Мне тоже, — буркнул Арсений с переднего сиденья.

— Лес какой-то... неправильный.

— Неправильный? — Жарков рассмеялся. — Это лес, Арс. Деревья, кусты, мох. Что неправильного?

— Птиц нет, — сказал Арсений. — Послушай. Ни одной. В апрельском лесу. Ночью должны быть совы. Нет сов. Нет ничего.

Жарков прислушался. Тишина. Абсолютная, звенящая, как пустая комната. Только рёв двигателя.

— Ну и что? Может, тут нет сов.

— В русском лесу нет сов? — Арсений покачал головой.

— Ладно. Твоё шоу.

Через час добрались.

Овраг открылся внезапно. Дорога — то, что от неё осталось — упиралась в обрыв. Земля просто заканчивалась. Как будто великан воткнул лопату в землю и вынул пласт, оставив зияющую рану.

Жарков вышел из машины. Прохладный ночной воздух ударил в лицо — влажный, пахнущий мхом и ещё чем-то.

Чем-то знакомым. Чем-то, что он не мог определить. Он подошёл к краю. Посветил фонарём вниз.

Глубоко. Метров на двадцать, а может и больше. Стены оврага — отвесные, из красноватой глины, прорезанные корнями деревьев. Деревья на краю росли, наклонившись над пропастью, как будто заглядывали внутрь. Их корни торчали из глины, как пальцы, хватающие пустоту. Дно терялось в темноте — даже мощный фонарь не доставал.

Камни. Корни деревьев. Вода на дне — чёрная, неподвижная, блестящая в свете фонаря, как жидкое стекло. И запах — вот он, наконец Жарков его узнал.

Пепел. Запах костра. Но не свежего — древнего. Как пахнет в доме, где много лет назад был пожар: гарь, впитавшаяся в стены, в землю, в камни. Неистребимая.

— Ставим оборудование, — скомандовал он. Голос был бодрым, но в глубине, если прислушаться, дрожал. Жарков подавил дрожь. Шоу должно продолжаться.

Арсений развернул камеры — три штуки, на разных курсах. Одну — на Жаркова, вторую — на овраг, третью — на панорамный вид. Алёна подключила генератор — он загудел в тишине, как раненый зверь. Связи не было, но запись шла.

Жарков достал из сумки всё необходимое: чёрные свечи из специализированного магазина — «натуральный воск, заряженные на полнолуние» (на самом деле — парафин с красителем из интернет-магазина за триста рублей). Мел —

обычный, школьный. Старинная книга — купленная на букинистическом сайте за двенадцать тысяч, якобы рукопись XVIII века, скорее всего — искусная подделка. Нож с символами — заказанный на AliExpress, нержавеющая сталь, декоративный.

Через полчаса всё было готово. Свечи горели по кругу, дрожа на ветру. Пентаграмма из мела белела на тёмной земле. Книга лежала раскрытой на камне.

Жарков встал в центр. Расправил плечи. Улыбнулся в камеру.

— Привет, мои тёмные! — Его голос звучал уверенно, профессионально, как всегда. — Мы здесь. Урочище Бабий Яр. Место, где, по легендам, в древности стояло капище, посвящённое Бабе-Яге. Мы нашли его. И сегодня я проведу ритуал, который не проводился столетиями!

Он взял книгу. Открыл на заложенной странице. Текст был на латыни — или на том, что Жарков считал латынью. На самом деле это была смесь латыни, церковнославянского и чего-то, чего Жарков не мог определить. Он скопировал заклинания из средневековой рукописи, выложенной каким-то энтузиастом на форуме оккультистов. Проверять подлинность не стал — зачем? Это театр.

Начал читать.

Голос его звучал громко, ритмично, нараспев. Слова падали в тишину, как камни в воду. Свечи дрожали. Тени металась.

Читал десять минут. Пятнадцать. Двадцать. Голос осип, но он продолжал. Арсений снимал, делая крупные планы — лицо Жаркова в свете свечей, пентаграмма, тёмный овраг за спиной. Алёна стояла у генератора, обхватив себя руками. Мёрзла. Или боялась.

Ничего не происходило.

Жарков почувствовал раздражение. Обычно к этому моменту он уже придумывал какой-нибудь трюк — звук в лесу, тень на камеру, скрип, стук. Что угодно. Но здесь, в глуши, на краю оврага, в полной тишине, трюки не работали. Не было заготовленных звуковых эффектов. Не было помощника, прячущегося в кустах. Ничего.

— Хватит на сегодня, — сказал он наконец, захлопнув книгу. — Духи не в настроении. Но мы вернёмся!

Выключил запись.

Алёна облегчённо вздохнула.

— Поехали, Семён. Пожалуйста. Мне здесь плохо.

— Пять минут. Соберём оборудование.

Арсений начал складывать камеры. Жарков стоял у края оврага, куря сигарету. Смотрел вниз. Дым плыл над пропастью, как маленькое облако.

И вдруг земля дрогнула.

Лёгкая дрожь. Как от проехавшего вдалеке грузовика. Сигарета выпала из пальцев, упала в овраг. Жарков нахмурился. Какой грузовик, в лесу, ночью, в десяти километрах от ближайшей дороги?

Дрожь усилилась. Земля под ногами заколебалась, как палуба корабля. Свечи попадали, погасли. Пентаграмма из мела поплыла, размазалась. Генератор загудел громче, потом заглох.

— Что за... — начал Арсений.

Треск. Громкий. Как будто под ногами ломалось что-то огромное. По земле пошла трещина — тонкая, чёрная. Потом ещё одна. И ещё. Они расползались от края оврага, как паутина.

Из трещин начал подниматься пепел.

Серый. Тёплый. Лёгкий как пух. Он поднимался медленно, кружился в воздухе, оседал на одежду, на лица, на руки. Много. С каждой секундой — всё больше.

— Дима, что это?! — закричала Алёна. Она не ошиблась — она звала Жаркова по-настоящему, не «Семён», не «Чернокнижник». По-настоящему.

Жарков не ответил. Он смотрел в овраг.

Там, внизу, что-то двигалось. Что-то огромное. Медленное. Тень, заполняющая дно оврага, как вода заполняет сосуд. Тень, у которой были очертания — нечёткие, расплывающиеся, но узнаваемые. Голова. Плечи. Руки.

И два белых пятна, похожих на глаза. Два провала чистого, абсолютного белого, от которого волосы встали дыбом.

Алёна закричала. Пронзительно, на одной ноте, как сирена.

— БЕЖИМ! — заорал Жарков.

Они бросились к джипу. Даже не стали собирать оборудование — камеры, генератор, свечи, книга — всё осталось на краю оврага. Просто бежали. Спотыкались о корни, продирались сквозь кусты, царапали лица ветками.

Жарков завёл машину с третьей попытки — руки тряслись так, что не мог попасть ключом в замок. Газ в пол. Джип рванул по колее, подпрыгивая на кочках, ревя мотором.

За ними, в зеркале заднего вида, Жарков видел, как над оврагом поднимается столб пепла. Высокий, до самых крон деревьев. Широкий. Серый. Как торнадо из праха.

Он жал газ до отказа. Деревья мелькали в свете фар, как призраки.

Добрались до деревни за полчаса. Влетели на улицу, затормозили у дома Марфы. Двигатель заглох — бензин закончился, стрелка на нуле.

Жарков сидел за рулём, дрожа всем телом. Руки тряслись. Сердце колотилось так, что казалось — рёбра не выдержат. Лицо, ещё недавно самоуверенное и наглое, было серым, как пепел, который до сих пор лежал на его волосах, на плечах, на коленях.

Алёна рыдала на заднем сиденье. Тихо, безнадежно, как ребёнок, который понял, что мама не придёт.

Арсений смотрел в окно, бледный как мел. Глаза его были пустыми. Он видел что-то, что ещё не мог осознать. Что-то, что сломало его картину мира.

— Это было... это было реально, — прошептал он.

Жарков не ответил.

Потому что знал: Арсений прав.

Это было реально.

И он только что совершил огромную ошибку.

Он открыл дверь, которую нельзя было открывать. Произнёс слова, которые нельзя было произносить. И разбудил то, что должно было спать.

Пятнадцать лет он играл с огнём. Пятнадцать лет строил карьеру на чужом страхе. Шарлатан, притворяющийся колдуном. Артист, играющий роль мистика.

Но сегодня ночью огонь ответил.

И Жарков понял: игра закончилась.

Пепел не остановился.

Даже в деревне, в двадцати минутах езды от оврага, он продолжал падать. Жарков вышел из машины, поднял голову. Мелкие серые хлопья кружились в воздухе, как снегопад наоборот — тёплый, сухой, пахнувший костром. Они оседали на крыши домов, на заборы, на листья деревьев.

Деревня спала. Ещё не знала.

Жарков стоял на тёмной улице, весь в пепле, с дрожащими руками и стучащими зубами, и смотрел на небо. Звёзд не было — пепел закрывал их, как занавес.

— Что я наделал? — прошептал он.

Алёна вышла из машины. Шатаясь, держась за борт. Лицо — мокрое от слёз, серое от пепла.

— Семён... — начала она.

— Молчи, — обрезал он. Не зло. Устало. — Просто молчи.

Они зашли в дом Марфы. Арсений запер дверь. Задвинул засов. Закрывл ставни. Как будто это могло помочь.

Жарков сел на пол, привалился к стене. Достал телефон. Руки дрожали так, что он трижды промахнулся мимо иконки.

Открыл канал. Десять новых сообщений. Двадцать. Сто.

«Что случилось?»

«Почему стрим оборвался?»

«Жарков, ты жив?»

Он закрыл телефон. Положил рядом. Экраном вниз.

— Не выкладывай ничего, — сказал он Арсению. — Запись с камер — если камеры вообще уцелели — не выкладывать. Ни одного кадра.

Арсений посмотрел на него.

— Почему?

— Потому что мы не знаем, что это было. И потому что я не хочу, чтобы ещё кто-нибудь поехал туда.

Это были первые разумные слова, которые Жарков произнёс за весь вечер. Может быть — за всю свою карьеру.

Алёна лежала на диване, свернувшись калачиком, накрывшись курткой. Дрожала. Арсений сидел рядом, держал её за руку.

За окном падал пепел.

Жарков сидел на полу, смотрел в стену и думал. Впервые

за пятнадцать лет он не знал, что делать.

Впервые за пятнадцать лет ему было по-настоящему страшно.

\*\*\*

Вечером Корнеев решил обойти деревню. Не ради расследования — ради понимания. Он хотел почувствовать это место. Впитать его, как впитывают запах нового дома.

Деревня была невелика — двадцать три дома, из которых обитаемы семнадцать. Остальные стояли заколоченными, с покосившимися крышами и провалившимися крыльцами. Мёртвые дома среди живых — как гнилые зубы во рту.

Дом Петра Лукьяновича — крепкий, пятистенок, с резными наличниками, выкрашенными когда-то в голубой, а теперь выцветшими до серого. Во дворе — перевёрнутая лодка, сети, растянутые на кольях. У забора — яблоня, старая, кривая, но ещё живая. Пётр Лукьянович сидел на крыльце, курил трубку. Увидев Корнеева, кивнул.

— Гуляешь?

— Смотрю.

— Смотри. Только в болото не суйся. Особенно после заката. Болото — оно своих помнит, а чужих — глотает.

Корнеев прошёл дальше. Дом Нюры — маленький, аккуратный, с палисадником, в котором уже пробивались первые ростки. Занавески — белые, свежие, как будто Нюра стирала их каждый день. Запах — молоко, хлеб, чистота. Из-за забора выглядывал рыжий кот — толстый, ленивый, с наглой

мордой.

Дом Фёдора-пасечника — чуть в стороне, ближе к лесу. Десять ульев выстроились за домом, как солдаты в строю. Пчёлы уже вылетели — ранние весенние пчёлы, жужжащие, деловитые. Фёдор стоял среди ульев без защитной маски — пчёлы его не кусали. Он говорил с ними — тихо, ласково, как с детьми.

Дом Кузнецовых — новый, по деревенским меркам. Бревенчатый, с пластиковыми окнами, со спутниковой тарелкой на крыше. Ванька-механик строил его два года, привозя материалы из области. Во дворе — качели, песочница, велосипед. Из окна — звуки мультика. Обычная жизнь.

Обычная жизнь на краю необычного.

Корнеев дошёл до окраины. Здесь дома кончались, и начинался лес. Не резко — плавно, как один мир перетекает в другой. Огороды переходили в заросли иван-чая, иван-чай — в молодой подлесок, подлесок — в лес. Старый, дремучий, непроходимый. Ели и сосны — высокие, прямые, как мачты. Берёзы — белые, стройные, как свечи.

Корнеев остановился на границе — не той Границе, о которой говорила Василиса, а просто на границе деревни и леса. Стоял и смотрел.

Странное чувство. Лес казался... живым. Не в обычном смысле — деревья всегда живые. Живым — в другом. Сознательным. Наблюдающим. Как будто тысяча глаз смотрела на него из-за стволов. Не враждебно. Не доброжелательно.

Оценивающе.

«Кто ты? — спрашивал лес. — Зачем пришёл? Останешься?»

— Останусь, — сказал Корнеев вслух. И удивился собственным словам.

Потому что понял — это правда. Он останется. Что-то в этом месте зацепило его — крюком, за рёбра, за сердце. Что-то, что не отпустит.

Он развернулся и пошёл обратно. К дому Василисы. К их дому.

На полпути он заметил странное. Тень. Или не тень — движение. На краю зрения. Быстрое, мимолётное, как мелькнувшая птица. Он повернул голову — ничего. Пустая дорога, забор, покосившийся столб.

Но ощущение осталось. Ощущение, что что-то наблюдает. Что-то, что старше деревни, старше леса, старше болота.

Что-то, что ждёт.

Корнеев ускорил шаг. Не от страха — от предчувствия. Предчувствия того, что его жизнь в Чернотопье только начинается. И что главное — самое главное — ещё впереди.

Впереди — Граница.

Впереди — огонь.

Впереди — выбор.

Но об этом он пока не знал.

## Глава 5

В три часа ночи всё Чернотопье проснулось.

Не от шума. От света.

Болото горело.

Не красным огнём. Зелёным. Холодным. Мёртвым. Свечение поднималось от воды, окутывало туман, окрашивало небо в цвет бутылочного стекла. Ярко. Настолько ярко, что в домах не нужны были свечи. Зелёный свет проникал сквозь шторы, сквозь щели в ставнях, окрашивал стены, пол, лица спящих людей. Деревня утонула в призрачном сиянии, как подводный город.

Корнеев проснулся от холода. Резкого. Внезапного. Как будто температура в комнате упала на двадцать градусов за секунду. Он лежал под одеялом, но тело колотил озноб — кости ломило, зубы стучали. Из рта шёл пар. Пар — в апреле, в тёплом доме, в натопленной печью комнате.

Он открыл глаза — и замер.

Комната была зелёной. Весь мир был зелёным. Свет заливал всё — мебель, стены, потолок. Шкаф с посудой, который Василиса купила прошлым летом. Иконка в углу, с которой Анна Васильевна подарила. Цветы на подоконнике — герани и фиалки — в зелёном свете казались чёрными.

Он вскочил, подбежал к окну, распахнул штору. Ткань была ледяной, словно пропитанной инеем.

Болото светилось.

Не тем слабым мерцанием, что они видели днём на воде. Это было нечто другое. Свечение было ярким, насыщенным, живым. Оно пульсировало — ритмично, как сердцебиение, — то вспыхивая, то затухая. Зелёные волны света расходились от центра болота к краям, как круги на воде. Туман над болотом клубился, светился изнутри, двигался — не по ветру, а сам по себе, словно у него была воля.

— Господи... — прошептал Корнеев.

Рядом проснулась Василиса. Подошла к нему тихо, босиком. Посмотрела в окно. Побледнела. Корнеев увидел, как кровь отхлынула от её лица — в зелёном свете она стала похожа на фарфоровую статуэтку.

— Началось, — прошептала она. — Это началось.

— Что именно началось?

Она молчала. Стояла, прижав ладонь к стеклу. Стекло было ледяным — Корнеев видел, как от её тёплой руки расплылось пятно конденсата.

— Граница рвётся, — тихо сказала она наконец. — То, что Жарков сделал в овраге — разбудило её. Баба-Яга. Она шевелится. И Граница, которую она держит, слабеет.

— Откуда ты...

— Я чувствую. Здесь. — Она прижала руку к груди. — Как боль. Как рана, которую рвут.

Они стояли молча, глядя на болото.

А потом Василиса вздрогнула. Всем телом, от головы до

пят, как от удара электрическим током. Закачалась. Корнеев подхватил её.

— Вася! Что с тобой?

Она подняла на него глаза. И Корнеев похолодел.

Глаза её были не зелёными. Они были БЕЛЫМИ. Полностью белыми. Без зрачков, без радужки. Два пустых, слепых круга, светящихся изнутри тем же светом, что заливал болото. Лицо Василисы было спокойным, безмятежным — слишком спокойным. Как маска. Как помертвая маска.

И когда она заговорила, голос её был не её.

Старый. Хриплый. Чужой. Голос, в котором слышался треск сухих веток и шёпот тысячи листьев.

«Она идёт», — сказал чужой голос устами Василисы. — «Мать идёт. Граница истончилась. Нить рвётся. Скоро — ничего не удержит. Дитя моё. Время пришло. Время уйти».

— НЕТ! — закричал Корнеев. — Вася! Вася, слышишь меня?!

Он тряс её за плечи. Но Василиса смотрела сквозь него — сквозь стены, сквозь дом, куда-то далеко, за горизонт, за пределы мира.

«Ты не можешь остановить это», — продолжал голос. — «Никто не может. Цикл должен завершиться. Одна должна уйти. Чтобы другая пришла. Чтобы Граница встала. Чтобы мир выжил».

— ЗАМОЛЧИ! — Корнеев ударил Василису по щеке. Не сильно. Но достаточно, чтобы её голова дёрнулась. Пощёчи-

на эхом прокатилась по тихой комнате. Он ненавидел себя за это — но другого способа не знал.

Она моргнула. Раз. Другой. Белизна исчезла — медленно, как рассветный туман, — уступая место зелёному. Глаза снова стали её. Живыми. Человеческими.

Василиса посмотрела на Корнеева. Губы дрожали. По щеке, которую он ударил, медленно расползлось красное пятно.

— Она говорила через меня, — прошептала она. — Баба-Яга. Она... она во мне. Частично. Она всегда была во мне. Во всех Мороковых. Как семя, ждущее своего часа. Ждала.

— Ты в порядке?

— Нет. Я не в порядке. — Голос её дрогнул. Подломился. — Я никогда не буду в порядке, Дима.

Она обняла его. Зарылась лицом в его грудь. Плакала тихо — не рыдала, не всхлипывала. Просто плакала, и слёзы впитывались в его рубашку, горячие, солёные.

Корнеев гладил её по голове. Смотрел в окно. На зелёное свечение. Челюсть его была сжата так, что сводило скулы.

Он не отдаст её. Никому. Ни Бабе-Яге. Ни Границе. Ни самой судьбе. Найдёт другой путь. Обязательно найдёт.

За окном начали появляться люди. Выходили из домов — в халатах, в ночных рубашках, в нательном белье. Стояли, глядя на болото. Кто-то крестился — мелко, быстро, как заведённый. Кто-то плакал. Кто-то просто стоял, открыв рот, с неммым ужасом на лице.

Нюра стояла на крыльце своего дома, прижимая к груди икону Казанской Богоматери. Губы её шевелились — молитва, беззвучная, отчаянная.

Пётр Лукьянович стоял посреди улицы, опираясь на палку. Смотрел на болото немигающим взглядом. Лицо его было спокойным — спокойствием человека, который ждал этого всю жизнь. Который знал, что рано или поздно придёт.

Анна Васильевна молилась на коленях прямо на земле, в грязи и росе, не замечая холода. Чётки блестели между пальцами.

Деревня замерла в ужасе.

А утром начал падать пепел.

Серый. Мелкий. Как снег — но тёплый. Он кружился в воздухе без ветра, словно у него была собственная воля, собственное направление. Падал неторопливо, почти нежно. Оседал на крышах, покрывая дранку и шифер ровным слоем, как сахарная пудра. На заборах — прямыми линиями. На земле — плотным ковром. На деревьях — гроздьями, на каждой ветке, на каждом листе.

К полудню всё было покрыто тонким серым слоем. Чернотопье стало серым. Дома, деревья, земля, вода — всё одного цвета. Мир потерял краски.

Корнеев вышел на крыльцо. Протянул руку. Пепел упал на ладонь. Тёплый, как дыхание. Лёгкий, как пух. Он растёр его между пальцами — мелкий, однородный, почти невесомый. Как мука. Или как прах.

Он поднёс руку к лицу. Понюхал.

Запах костра. Древнего, тысячелетнего костра, в котором сгорели тысячи жизней, тысячи историй, тысячи имён.

И ещё что-то. Что-то, для чего не было слова. Запах Гра-  
ницы. Запах того, что между мирами. Первобытный. Доче-  
ловеческий.

Запах конца мира.

Василиса вышла на крыльцо. Посмотрела на пепел. Под-  
няла лицо к небу. Серые хлопья оседали на её волосах, на  
щеках, на ресницах.

— Так было и тогда, — тихо сказала она. — Когда мама  
уходила. Тамара Петровна рассказывала: в ту ночь тоже шёл  
пепел. Накрыл всё Чернотопье. А утром — исчез. И мамы  
не стало.

— Мы найдём другой путь, — упрямо повторил Корнеев.  
Василиса посмотрела на него. Грустная улыбка.

— Ты всегда так говоришь.

— И всегда нахожу.

— Всегда, — эхом повторила она. Но голос её звучал не  
убеждённо. Голос звучал так, как звучит прощание.

К вечеру пепел прекратился. Зелёное свечение болота по-  
гасло — медленно, нехотя, как догорающая свеча. Но что-  
то изменилось. Корнеев чувствовал это кожей, костями, нут-  
ром. Воздух стал другим. Плотнее. Тяжелее. Как будто сам  
мир сжался на размер — стены стали ближе, потолок ниже,  
горизонт — уже.

Граница истончалась.

И где-то за ней — далеко и одновременно рядом, на расстоянии вытянутой руки и в другом измерении — что-то ждало. Терпеливо. Неумолимо. Как всегда ждало.

Мать шла.

Следующие три дня Корнеев собирал информацию.

Он обошёл каждый дом в деревне. Разговаривал с каждым жителем. Записывал в блокнот — привычка, которая не оставляла его даже здесь, вдали от следственного комитета. Факты. Наблюдения. Свидетельства.

Нюра рассказала: её кошка — старая, ленивая, двенадцатилетняя Муська — утром после свечения забила под печку и отказывалась выходить. Ела только из рук. Шипела на окна. А когда Нюра пыталась её вытащить — кошка укусила так глубоко, что пришлось перевязывать руку.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.